

Сборник

Дело

**Литературно-художественный
ежемесячник № 3 март 1951**

**Москва
«Книга по Требованию»**

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Издательство приносит глубокую благодарность

Александре Николаевне

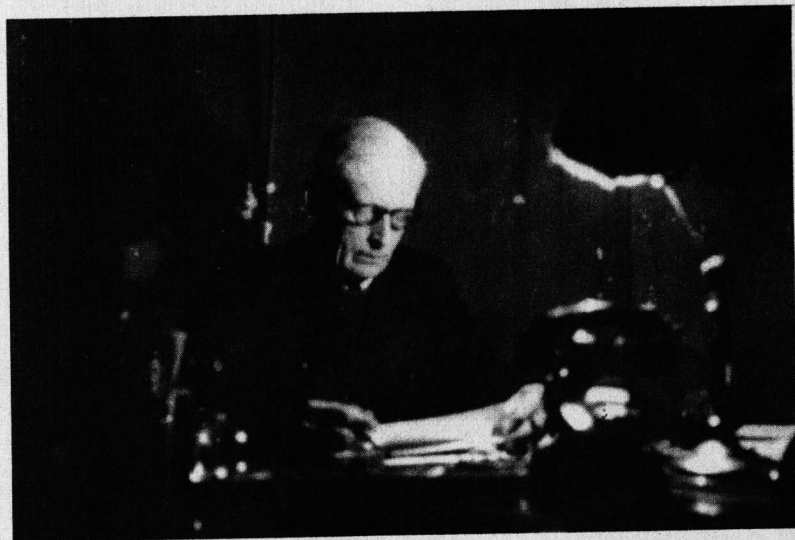
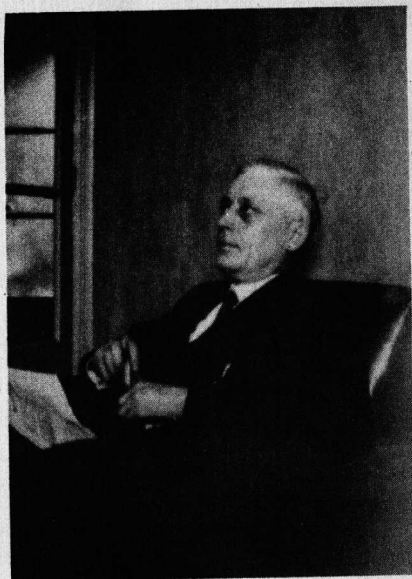
МАЗУРОВОЙ

за подбор материала и редактирование

статей посвященных памяти

Б. Г. Пантелеймонова

БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ ПАНТЕЛЕЙМОНОВ



Б. Г. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ

Тамара Ивановна Пантелеймонова пишет: "Борис очень любил свой письменный стол и на нем было много «игрушек» — всякие образцы его химических изобретений, собственноручные модели разных замысловатых машинок, под стеклом покрывающим стол, разложены коллекции русских бумажных рублей и миллионов. Когда у нас была еще обезьянка, она сидела у него на плече, спрятав голову за ухо. И так они работали часами".

Страдание

На лицах,—я знаю—ничего зря не бывает: если человек взял птицу из чужого силка или оставил неприглушенный костёр в лесу—все это сейчас же на лице. Может быть приметная точка, но что-то остаётся. Шельма сама себя метит.

А есть лица приметные и загадочные. Мне, молодому лесовику, в городе встретилось такое. Вот у Юрия Петровича, служащий адвоката: старое лицо с белой опушкой волос, а глаза . . . Слов не найти, что в них, но седые волосы и эти глаза, вместе они дают странное впечатление. Как нескованная льдом река меж снежных берегов: вода черная и загадочная, а снег яркий и холодный.

Непрёменно здесь какая-то необычайная загадка.

Мы с ним друзья, да и моя молодость—была не была, спрошу.

— Юрий Петрович, мне кажется, что у вас в жизни что-то особенное было. Вот бы вы мне рассказали . . .

— Зачем это?

— Да так. Интересно про чужую жизнь послушать, а может быть самому в будущем пригодится.

Юрий Петрович молчит, внимательно присматриваясь ко мне.

— Так, так, говорит наконец,—что же может быть. Ну ладно—вечерком. Там видно будет.



Юрий Сокольский из небогатой семьи, лишь кое-как он дотянул до университета. После смерти отца все надежды семьи возлагаются на помощь брата матери.

Дядя—живой белоснежный старичок, председатель правления банка—проявил участие к судьбе Юрия. Это по его

настоянию Юрий бросил университет и служит как «своя рука» при дяде. Тот был с ним ласков, но повелителен. Юрий делал в банке стремительную карьеру, и его подпись красовалась уже на самых важных актах. Дни у него шли безмятежные, но приходилось задуматься и об ответственности. Чем больше думал, тем становилось тревожнее. Надо объясниться с дядей.

Тот внимательно выслушал. И первый раз показался в новом виде: красный, плюясь, вытаращенные глаза, он кричит на Юрия:

— Ты, щенок, еще рассуждать? Ты, благодетельствованный мною, вытщенный из прозябания . . .

И пошел, и пошел. Резолюция была коротка:

— Поди вон, убирайся, неблагодарная свинья, или делай всё слепо, как тебе приказывают!

Юрий смирился.

Кончилось трогательно: дядюшка его приласкал, обнял и дал приложиться к пухлой розовой щеке.



Я слушаю Юрия Петровича и вижу в полумраке комнаты только выразительную игру его пальцев в ярком кругу света, падающего из под картонного абажура лампы на письменном столе.

Рассказ течет, а я теряю к нему интерес. Юрий Петрович рассказывает, как «повесть» строит. Чего-то в словах пока прячет, я стал настороже. Выскочило какое-то слово — опять подсказка. Мне уже понятно: дядюшка окажется жулик, а Юрий Петрович пострадает, попадет в тюрьму.

Ну, хорошо: сейчас подойдет к тому, как произошел крах и какой дядюшка наизнанку оказался черный.

Но когда же будет главное? Почему на лице Юрия Петровича след чего-то необычайного? Как будто у него цветет, цветет все ярче, а только тело студенеет.

Или, может быть, это только мне кажется?

Хожу к Юрию Петровичу по вечерам, все подкарауливаю

—где, когда начнётся главное.

Слушаю описание скандала в городе: крах банка, неистовство дядюшки, «павшего жертвой родственных чувств», позор Юрия, суд и пять лет арестантских рот с лишением прав и состояния.

Тут я насторожился. И Юрий Петрович уж не «повесть» строит, а взволнован, всё от души.

Конечно, я заново перечитал «Записки из Мёртвого дома» и про Раскольниково. Какая разница, читать когда надо, или когда читаешь просто так, для развлечения.

Теперь, когда Юрий Петрович рассказывал, как арестанты переделывали его из барина в своего и как он ломал себя, стараясь приспособиться — я всё понимал ярче, глубже, как понимаешь жизнь, а не воображаемое.

Поразило меня какой Мертвый дом был раньше патриархальный, простой. А теперь, по рассказам Юрия Петровича, жестокость стала острее, появились новые люди, как нарочно созданные для мученья других.

Вот пригнали партию в какой-то Николаевский централ, Одна приёмка чего стоит. Слушаю, и сердце горит.

Выстроили, говорят «новых» во дворе. Стоим, подтянулись. Выходит начальник, с ним надзиратели.

«Я,—кричит начальник,—здесь царь и Бог для вас!»

И начинает приёмку. Подходит к первому:

«Фамилия?»—тот не успевает рот раскрыть, ему по лицу—раз!—«Следующий!»

И так всех до последнего. Но это не все. Начальник сначала взглядывает в глаза, и у которых «смелые»—передает после себя надзирателям, начинается потеха: кулаками, сапогом, ножами—отсюда прямо в околоток. У Юрия Петровича глаза оказались «смелые» . . .

А рассказывает так, с усмешечкой, просто мне в назидание. Устный рассказ от самого пострадавшего, это не то, что читать: лежа в кровати, уже дома, долго не могу заснуть. По моей лесной вере полагается общая справедливость в мире.

Где же она, где ее конечное торжество,—в загробной жизни, что ли, а на земле—нет?

Обманувший дядюшка в покое, а Сокольский арестант. Начальник, надзиратели. Что же толкуют о добре и зле. Звериная ухватка, никто ни сват ни брат, вот, должно быть, настоящая тропа в жизни.

Нет, нет и нет!—возмущается сердце.

В лесу, бывало, сова—дикий жалкий крик, полный ужаса и смертельной тоски.

Сколько веры в молодом сердце: вот, кажется, жить не стоит, а потом находят силы повернуть себя, взглянуть на свет с другой стороны. Какие зигзаги проделываем. И никто в ту пору не поможет.

Но нет: есть страшная ночная птица, а есть песня дневной . . .

Тяжко Юрию Петровичу. Идут тюремные муки, а тут, на второй год, случилось страшное: устроили бунт. Чего-то там недопеченый хлеб, черви в говядине . . .

В Николаевском центре—бунт! Вот, нельзя человека на одном страхе держать. Бывают дни, когда арестанты как порох. Ни сами они, ни начальство не знают, почему это происходит. Но только тогда—им все нипочем.

Было всеобщее избиение, карцера забросали грудой окровавленных тел, но всё это в домашнем порядке. А полагается еще закон уважать. Кроме зачинщиков—тех отделили—выстроили всех в камере и—лотерею: пятого с фланга, кто как стал, записали. Это будут «особо виновные». Им завтра по пятидесяти розог. Попал в пятые и Юрий Петрович, хотя во время бунта под нары забился. Судьба.

Сокольский перенес уже много побоев. Знает всякую боль. Когда бьют, то береги голову, втягивай, закрывай рукой. Удар по носу—только бы не по хрящу. Меткий удар в зубы—выплюывай. По уху—глохнет человек. Удар по животу, когда человек скрючившись падает, не может отдышаться. Рёбра. Сломанные пальцы.

И всё-таки,—размышляет он, заложивши руки под затылок и смотря с нар на жизнь камеры,—все это не страшно. При побоях есть надежда укрыться, сознание отвлечено, все происходит быстро. Но вот—порка!

Связанный безвольный человек. Ожидание каждого удара. Жгучая, ничем не отвлеченная боль. Вечность истязания. Что делается с сердцем, не даром около стоит доктор и шупает пульс. Сокольскому приходилось издали слышать крики—секут кого-нибудь. Боже, что за ужасные звериные визги!

Он вскакивает, ходит по камере. Страх, животный, непереносимый страх. Он готов на унижение, на подлость, отдать свою жизнь—лишь бы избежать порки.

Кончить с собой?

Но как? Броситься на надзирателя, чтоб потом повесили. Но надзиратели сегодня осторожны, они знают, что творится в душе у ждущих наказания. Да и все равно—сначала высекут.

Перерезать себе жилы—соседи по нарам не дадут. Нож в живот?

Сокольский мечется по камере, скрипит зубами. Одноглазый старик подзывает к себе, заговаривает, рассказывая как сам первый раз мучился перед наказанием.

— Больно было, дед?—спрашивает Сокольский.

Дед говорит мудрые слова, ободряет.

Ах, как хочется поверить!

А мне, слушающему сейчас Юрия Петровича, мне страшно. Моя радость жизни как огонь задуваемой лампы: вот сорвется и—мрак.

О самой порке Юрий Петрович не рассказывает.

— Но боль, на что это похоже?—спрашиваю я.

— Боль есть боль,—отвечает,—что больше скажешь, каждая боль по разному . . . Удивительно, однако,—боль сразу забывается. Вот я думаю: если бы душа была такая добрая у всех, как тело. Душа, если причинят зло, помнит его долго, вызывает к мести, а тело боль забывает сразу. Не поразительно это?

Его пальцы с папирсой, занесённой над пепельницей, остановились, он медлит стряхнуть пепел.

— И вот еще над чем стоит задуматься: почему перенесшего страдания человека охватывает чувство гордости, какого-то превосходства над другими?

По речам Юрия Петровича выходит, что страдания— физические или моральные—прожигают душу. У одних, немногих, выжигается все человеческое, люди звереют, у других вырастает Божье.

Мне ново, что физические страдания приравниваются к моральным. Разве так?

Может быть это по мальчишески, но у меня еще вопрос, его я не высказываю:—страданьем можно очистить и свой внешний лик?

Да... Вспоминается мне божественные сказания, вериги, подвижники, самобичующиеся. Выходит, что Юрий Петрович, может быть, и прав.

Перенесенное наказание, притом безвинно, принесло Юрию Петровичу ту пользу, что окончательно уничтожило перегородку между простыми арестантами и им, ставило крест на его «братстве».

Это он радостно понял еще лежа в околотке, пока заживала спина. Не будет теперь вечных насмешек, меньше побоев, немного больше удобств.

Он выписан был в числе первых. Молодцом вкатились они в камеру, где их встретили шумом, гамом, шутками, песнями. Так отрадно было стать окончательно своим.

Радость продолжалась, однако, не долго.

Перед проверкой, когда пришедшие с работы арестанты запаслись чайниками с кипятком и сговаривались кому ночью метать банк, в камеру вошел надзиратель в сопровождении писаря из конторы.

— Сокольский!—кричит писарь.

Тот сначала даже не понял.

— Юрка, тебя!—подталкивают его.

Вручают объемистую посылку—конечно раскрытую, вещи перерыты досмотром и запихнуты обратно кое-как. Он растерянно несёт пакет к своему месту. Его тотчас окружают.

Посылка от доброго дядюшки. Нашел-таки, будь он проклят!

Со смехом идут по рукам голубые панталоны-трико, фуфайка, носовые платки с меткой «Ю. С.», галстук, зубная щетка.

— Эй, барин,—кричит один верзила,—а где же набрюшничек, где туфельки?

— Ведь не думают, черти, что человек может животик простудить!—кричит другой,—а как же ему после работы без туфелек, в чём же отдыхать?

— А зубки-то, зубки,—кричит тенором вор-весельчак, уже стянувший зубную щетку,—вот оно для белых барских зубок!

Вещи расхватили сейчас же. Один обещал махорки, другой помочь на работе, а третий просто взял.

Потерянный Сокольский сидит на нарах. Его не замечают.

— Эй, ты, барин, подвинься что ли, а то вот, как брякну! — толкает его в бок сосед.

Начинается всё, как в первый год.

Уже поздно, мы засиделись этот раз. Рука Юрия Петровича срывается с круга света из под абажура и вдруг ловит мои пальцы:

— А ведь душа-то у людей золотая!—шепчет он, и сжимает мне руку так, что пальцы слиплись.

— У всех?—задохнувшись, спрашиваю.

Я слышу стук своего сердца и тиканье часов в кармане у Юрия Петровича.

Жизнь... Разносится туман и открываются веселые ёлочки, берёзы, ничего страшного.

Мне кажется—ветер распахнул окно, машет занавеской, опрокинулся стакан с цветами на столе, овеяло меня благостью сада.

Борис Пантелеймонов